

Стефан Цвейг

Фантастическая ночь

Нижеследующие заметки найдены были в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р... после того, как он, осенью 1914 года, пал в сражении при Рава-Русской, служа обер-лейтенантом запаса в одном драгунском полку Семья покойного, решив по заглавию и после беглого просмотра этих листков, что они представляют собою всего лишь литературный опыт, передала мне их на рассмотрение и разрешила опубликовать. Я, со своей стороны, смотрю на это произведение отнюдь не как на вымысел, а как на правдивую во всех своих подробностях повесть о том, что действительно пережил усопший, и, утаив его имя, предаю гласности эту исповедь без всяких изменений и добавлений.

Сегодня утром вдруг меня озарила мысль, что мне следовало бы для самого себя записать события той фантастической ночи, чтобы наконец обозреть их в связном виде и в естественной их последовательности. И начиная с этого мгновения я испытываю необъяснимую потребность изложить письменно это приключение, хотя и сомневаюсь,

удастся ли мне, пусть даже приближенно, выразить необычайность происшедшего. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, нимало не искушен в литературе и если не говорить о некоторых гимназических произведениях преимущественно шуточного характера, то никогда и не пробовал писать. Например, я не знаю даже, существует ли особая, поддающаяся усвоению техника, позволяющая сочетать чередование внешних событий и одновременное их описание и осмысление; я задаюсь также вопросом, способен ли я всегда придавать смыслу надлежащее слово, слову — надлежащий смысл и тем самым устанавливать то равновесие, которое я бессознательно всегда ощущал при чтении хороших произведений. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они нимало не предназначены объяснить другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Они являются всего лишь попыткой наконец-то, в известном смысле, отделаться от одного происшествия, которое непрестанно занимает мои мысли, приводя их в мучительное брожение, — зафиксировать его, поставить перед собою и рассмотреть со всех сторон.

Я не рассказал об этом событии ни одному из своих приятелей, руководствуясь именно тем чувством, что не смогу им объяснить самое в нем существенное, да и как-то стыдясь того, что столь

случайные обстоятельства так меня потрясли и переполошили. Ведь все в целом представляет собою, в сущности, незначительное приключение. Но, едва лишь написав это слово, я уже начинаю замечать, как трудно неопытному человеку выбирать слова надлежащего веса и какая двусмысленность, какая возможность быть истолкованным ложно присуща каждому, самому простому обозначению. Ибо, если я называю свое приключение незначительным, то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле, в противоположность крупным драматическим событиям, в которые вовлекаются целые народы со своими судьбами, и понимаю это, с другой стороны, в смысле длительности, потому что все происшедшее развернулось на протяжении каких-нибудь шести часов. Для меня же это — вообще говоря, мелкое, маловажное и незначительное — событие имело столь большое значение, что еще и теперь — спустя четыре месяца после той фантастической ночи — я им пылаю и должен напрягать все свои духовные силы, чтобы скрывать его в своей груди. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все его подробности, ибо оно стало как бы стержнем всего моего существования. Все, что я делаю и говорю, безотчетно для меня определяется им, мысли мои заняты исключительно тем, что воспроизводят его снова и снова и тем

самым утверждают меня во владении им. И теперь мне вдруг стало ясно то, что я не сознавал еще десятью минутами раньше, когда взялся за перо: что я для того лишь излагаю теперь это происшествие письменно, чтобы иметь его перед собою совершенно точно и как бы вещественно зафиксированным, еще раз его прочувствовать и в то же время понять. Я выразился совсем неправильно, совсем ложно, только что сказав, что хочу от него отделаться; напротив, я хочу еще больше жизни вдохнуть в слишком быстро пережитое, наделить его теплом и дыханием, чтобы иметь возможность постоянно его ощущать. О, я не боюсь забыть хотя бы одну секунду того знойного дня, той фантастической ночи; мне не надобно ни камней, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов: как лунатик, попадаю я в любое время, посреди дня, посреди ночи, в их сферу и вижу в ней каждую подробность с той зоркостью, какую знает только сердце, а не мягкая память. Я мог бы и теперь с не меньшей уверенностью нанести на бумагу очертания каждого отдельного листка в зеленеющем весеннем ландшафте, я еще теперь, осенью, чувствую нежный пыльный аромат стоящих в цвету каштановых деревьев; и поэтому, если я еще раз описываю эти часы, то не из боязни их утратить, а радуясь тому, что их снова обрел. И когда я теперь,

в точной последовательности, представляю себе превращения той ночи, то вынужден, ради стройности изложения, сдерживаться, потому что стоит мне подумать о подробностях, как в душе моей поднимается какой-то дурман, своего рода экстаз овладевает мною, и мне приходится пропускать воспоминания сквозь запруды, чтобы они в многоцветном опьянении не ринулись друг на друга. Все еще переживаю я со страстным пылом пережитое, тот день, 7 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр...

Но снова, чувствую, нужно мне остановиться, потому что испуганно вновь замечаю, как обоюдоостро, как многозначно каждое отдельное слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит нечто в связном виде изложить, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то ускользающее, чем все же является все живое. Только что я написал «я», сказал, что 7 июня 1913 года, в полдень, сел в фиакр. Но уже это слово ведет к неясности, потому что тем «я», каким я был 7 июня, я быть уже давно перестал, хотя только четыре месяца прошло с того времени, хотя жить я продолжаю в квартире прежнего «я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукою. От того прежнего человека — и как раз под влиянием этого события — я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и холодно, и могу его

описывать, как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его или осуждать, и при этом не чувствовать вообще, что он мне принадлежал когда-то.

Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне мало отличался от большинства людей его социального класса, который принято, в частности, у нас, в Вене, называть без особой гордости, но вполне убежденно «хорошим обществом». Мне шел тридцать шестой год, родители мои рано умерли и оставили мне, незадолго до моего совершеннолетия, состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы вполне избавить меня от забот о зарработке и карьере. Таким образом я неожиданно освободился от одного решения, которое меня в то время очень беспокоило. Как раз в эту пору я окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща деятельности, которым явилась бы, вероятно, в силу наших семейных связей и моей рано уже обнаружившейся склонности к спокойно расширяющемуся и созерцательному существованию, государственная служба. Но тут мне досталось как единственному наследнику состояние родителей и обеспечило мне нежданную праздную независимость, даже в довольно широких

пределах роскоши. Честолюбием я никогда не страдал, а поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребности найти себе какое-нибудь поле деятельности. Но так я и остался наблюдателем жизни, ибо, не испытывая никаких особых стремлений, достигал всего в узком кругу своих желаний; изнеженный и сластолюбивый город Вена, доводящий поистине до художественного совершенства привычку шататься без дела, глазеть по сторонам и быть элегантным, превращающий ее в цель существования, заставил меня совсем позабыть о влечении к серьезной деятельности. Мне достались в удел все удовольствия, доступные изящному, знатному, состоятельному, приятной внешности молодому человеку, лишенному вдобавок честолюбия, — безопасные увлечения игрой, охотой, регулярные услады экскурсий и путешествий, — и вскоре я принялся, все с большей тщательностью и художественностью, украшать эту созерцательную жизнь. Я собирал редкий фарфор, не столько по душевному влечению, сколько ради удовольствия, какое доставляет приобретение навыка и знания в пределах неутомительной деятельности. Я украсил свою квартиру особого рода итальянскими гравюрами барокко и пейзажами в манере Каналетто, поиски которых у антикваров и

приобретение на аукционах были полны для меня спортивного, но нисколько не опасного азарта. Занимался многими вещами с охотой и всегда со вкусом, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех немалый, и в этой области тоже вкусил, с тайной страстью коллекционера, много памятных и ценных мгновений, постепенно превратившись из простого сластолюбца в знатока и ценителя.

В общем, я много переживал такого, что приятно наполняло мой день и позволяло мне считать мою жизнь богатой, и я начинал все больше любить эту теплую, сладостную атмосферу оживленной и все же не ведавшей никаких потрясений молодости, почти уже не испытывая новых желаний, ибо совсем незначительные вещи в безбурном воздухе моих дней способны были претворяться в радость. Хорошо выбранный галстук мог меня привести чуть ли не в веселое настроение; автомобильная поездка, прекрасная книга или свидание с женщиной — дать мне ощущение блаженства. Особенно был мне приятен такой образ существования тем, что он ни в каком отношении, совершенно как безупречно сшитый английский костюм, никому не бросался в глаза. Думается мне, что на меня смотрели как на приятное явление, в обществе меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых

называло меня счастливым человеком.

Теперь уж я не мог бы сказать, чувствовал ли сам себя счастливым тот прежний человек, которого я стараюсь представить себе; ибо ныне, когда я, под влиянием пережитого, требую для каждого чувства значительно более полного смысла, мне представляется почти невозможной всякая оценка прежнего моего самочувствия. Но я могу с уверенностью сказать, что в это время, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным, потому что почти никогда мои желания и требования к жизни не оставались неисполненными. Однако как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, а вне этого никаких притязаний к ней не иметь, породило мало-помалу известный недостаток в напряжении, какую-то мертвенность в самой жизни. Что тогда, в иные минуты смутного постижения, томясь, шевелилось во мне, было, в сущности, не желаниями, а желанием желаний, потребностью вожделеть сильнее, необузданней, честолубивее, не столь удовлетворенно, жить больше, а также, быть может, страдать. Я устранил из своего существования, посредством чересчур разумной техники, все сопротивления, и об этот недостаток сопротивления притупилась моя жизнедеятельность. Я замечал, что вожделею все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение

овладевает моими чувствами, что я — пожалуй, будет правильнее всего так выразиться — страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом изъяне по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже начал бывать в театрах, в обществе, на различных сенсационных собраниях, что, покупая книги, о которых я слышал лестные отзывы, оставлял их в течение целых недель неразрезанными на своем столе, что, механически продолжая коллекционировать свои любовные похождения, фарфор и древности, я уже не приводил их в порядок и не слишком радовался неожиданному приобретению, после долгих поисков, какой-нибудь редкой вещи.

Осознал же я вполне это медленное и постепенное ослабление своей духовной энергии только по одному определенному поводу, отчетливо сохранившемся в моей памяти. Я остался на лето в Вене — также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким приманкам новизны, — и вдруг получил с одного курорта письмо от женщины, с которой я в течение трех последних лет был в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на четырнадцати страницах, что за эти недели познакомилась там с одним человеком,

который занял в ее жизни большое, господствующее место, что она выйдет осенью замуж за него и что наши отношения должны быть прерваны. Она без раскаяния, больше того — с радостью вспоминает прожитое со мной время, вступает в новый брак, сохраняя память обо мне, как о самом дорогом в ее прежней жизни существе, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением взволнованное письмо заканчивалось поистине потрясающими заклинаниями, чтобы я не слишком страдал от этого внезапного разрыва; чтобы я не пытался ее насильно удержать или совершить какой-нибудь безумный шаг. Все стремительнее мчались строки: она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это сообщение. И в виде постскриптума, карандашом, было еще порывисто написано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня».

Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал вторично читать, то почувствовал какой-то стыд, и, будучи осознан мною, этот стыд быстро повысился до степени ужаса. Ибо ни одно из этих сильных и все же естественных ощущений, которые предвидела моя любовница, даже в слабой мере не

шевелинулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боль, не вызвало гнева во мне, и уж, во всяком случае, ни на мгновение не приходило мне на ум какое-либо насилие над нею или над собою. И этот мой душевный холод был все же настолько странен, что не мог не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, в течение ряда лет бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, и ничто во мне не шевельнулось, не возмутилось, ничто не пыталось отвоевать ее снова, ничто не произошло в моей душе из того, что чистый инстинкт этой женщины должен был ожидать от настоящего человека. В этот миг я впервые понял, как далеко зашел процесс окостенения. Я скользил мимо, словно по проточной зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и знал совершенно точно, что этот холод был чем-то мертвенным, трупным, еще не отдававшим, правда, гнилостным запахом тления, но говорившим о безнадежной окоченелости, о жуткой, ледяной бесчувственности, которая предшествует подлинному телесному умиранию, явному распаду.

С этого времени я принялся внимательно наблюдать себя и эту странную духовную отупелость во мне, как больной следит за своей болезнью. Когда вскоре после этого умер один мой друг и я

шел за его гробом, то прислушивался к самому себе: шевелится ли во мне скорбь, вызывает ли в моем сознании какую-нибудь боль утрата этого близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе представлялся каким-то стеклянным предметом, сквозь который вещи просвечивают, никогда не проникая внутрь, и как я ни силился при этом, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка пробудить в себе чувство, никакого ответа не доносилось из застывших глубин души. Люди покидали меня, женщины приходили и уходили — ощущал я это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит по стеклам. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная стена, и разрушить ее напором воли у меня не было сил.

Как ни ясно я это сознавал, подлинной тревоги не вызвало во мне такое открытие, потому что, как я уже говорил, я равнодушно относился к вещам, касавшимся меня самого. Даже для страдания я был уже недостаточно чувствителен. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян был так же незаметен для посторонних, как телесное бессилие мужчины обнаруживается только в интимные мгновения, и часто в обществе, посредством напускной сдержанности, посредством

спонтанного преувеличения, я старался с известным тщеславием скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я продолжал вести свой прежний угарный, не знающий трений образ жизни, не изменяя его течения: недели, месяцы легко скользили мимо и медленно превращались в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и почувствовал, что моя молодость медленно струится в другой мир. Но то, что другие называли молодостью, во мне давно миновало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собственную свою молодость недостаточно любил. Даже по отношению ко мне самому строптивное мое сердце молчало.

В силу этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и обстоятельств. Они выстраивались в тусклый ряд, росли и увядали, как листья на дереве. И совершенно обычно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования начался и тот единственный день, который я хочу для самого себя описать.

В этот день, 7 июня 1913 года, я поздно встал под влиянием не поблекшего с детских, школьных лет праздничного, воскресного настроения; принял ванну, читал газету и перелистывал книги, затем пошел гулять, будучи прельщен теплым, летним днем, участливо проникавшим в мою комнату; по

привычке прошелся по Грабену, разглядывая экипажи, обмениваясь поклонами с приятелями и знакомыми, кое с кем из них переговариваясь мимоходом. Потом позавтракал вместе с друзьями. Дневные часы были у меня свободны, потому что по воскресеньям я особенно любил в течение нескольких часов нераздельно принадлежать самому себе, всецело отдаваясь на волю случая или какого-нибудь внезапного решения. Когда я затем, возвращаясь от друзей, переходил Ринг, то почувствовал благородную красоту залитого солнцем города и обрадовался его яркому, летнему убранству. Все люди казались веселыми и какими-то влюбленными в праздничный вид пестрой улицы, многие частности бросались мне в глаза — и прежде всего то, как пышно разделись в свою новую зелень росшие среди асфальта деревья. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эту воскресную сутолоку я вдруг воспринял как чудо и невольно испытал тоску по зелени, яркости и пестроте. Я вспомнил с некоторым любопытством о Пратере, где теперь, в конце весны, в начале лета, тяжелые деревья стоят, как исполинские лакеи, по обеим сторонам струящейся экипажами главной аллеи и неподвижно протягивают свои белые цветы множеству принарядившихся, элегантных людей. Привыкнув сразу же уступать каждому своему мимолетному желанию, я остановил первый

встретившийся мне фиакр и приказал кучеру ехать в Пратер.

— На скачки, господин барон, не правда ли? — спросил он подобострастно.

Тут только я вспомнил, что на этот день назначены престижные скачки, предшествовавшие розыгрышу дерби, и что все фешенебельное венское общество собирается там.

«Странно, — подумал я, садясь в фиакр, — могло ли еще несколько лет тому назад случиться, чтобы я пропустил или забыл такой день?» Снова по этой забывчивости почувствовал я, как больной, когда заденешь его рану, душевную черствость, овладевшую мною.

Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее. Скачки, должно быть, уже давно начались, потому что не видно было столь пышной обычно вереницы экипажей, только несколько фиакров порознь мчались под грохот копыт, словно в погоню за незримой целью. Кучер повернулся на козлах и спросил, гнать ли ему коней. Но я сказал ему, чтобы он не торопился, потому что мне было безразлично, опоздаю ли я. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на трибунах, чтобы стремиться приехать вовремя, и моему ленивому настроению больше соответствовало мягко покачиваться в коляске, ощущать нежно шелестящий синий воздух, как

море на палубе корабля, и спокойно присматриваться к густолиственным каштановым деревьям, отдававшим по временам вкрадчиво теплому ветру лепестки своих цветов, которые он, играя, легко поднимал и крутил, прежде чем уронить их снежинками на аллею. Приятно было давать себя укачивать так, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать себя, без всякого напряжения, окрыленным и уносимым: в сущности, мне стало досадно, когда коляска остановилась во Фройденау перед воротами. Охотнее всего я бы еще повернул, продолжал бы упиваться мягким днем раннего лета. Но уже было поздно, коляска стояла перед ипподромом.

Глухой гул донесся мне навстречу. словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где скрывалась от моих глаз взволнованная толпа, порождавшая этот сосредоточенный шум, и невольно припомнилось мне, как в Остенде, чуть только поднимешься на пляж из нижнего города, по боковым улочкам, тебя уже обдаёт солеными и резкими порывами ветер и слышится глухой грохот, прежде чем взор охватит пенистый, серый простор с его гремящими валами.

В этот миг, по-видимому, проходил один из заездов, но между мною и кругом, по которому неслись теперь лошади, теснилась многокрасочная, гудящая, словно внутренней бурей потрясаемая

толпа игроков и зрителей; мне не были видны скачки, но я угадывал каждую фазу их по азарту зрителей. Лошади, очевидно, давно уже были пущены, кучка разредилась, и двое боролись за лидерство, потому что из толпы, таинственным образом переживавшей невидимые для меня движения, уже вырывались крики и взволнованные призывы. По направлению голов чувствовал я поворот, которого теперь достигли жокеи и лошади на продолговатом овале дорожки, потому что весь людской хаос тянулся все в большем единстве, все сплоченнее, как одна вытянутая шея, по направлению к незримому для меня фокусу взглядов, и все выше поднимавшийся прибор клокотал и ревел в этой единственной вытянутой шее тысячью дробных, отдельных звуков. И этот прибор рос и вздувался, уже заполняя все пространство, вплоть до равнодушного синего неба. Я взглянул на несколько лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, глаза были выпучены и сверкали, губы закушены, подбородок жадно вытянут вперед, ноздри раздуты, как у лошадей. Забавно и жутко было мне рассматривать в трезвом состоянии этих не владеющих собою опьяненных людей. Рядом со мной стоял на стуле мужчина, щегольски одетый, с лицом, вообще говоря, довольно приятным; теперь, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал в воздухе

палкой, словно кого-то подхлестывал, все его тело страстно воспроизводило — для стороннего наблюдателя в этом был невыразимый комизм — движения быстрой скачки. Как на стальных стременах, непрестанно постукивал он каблуками по стулу, не переставая рассекать воздух палкой вместо хлыста, левой рукой судорожно сжимая белую афишку. И вокруг все больше развевалось этих белых афишек. Как пенные брызги, реяли они над этим яростным, серым, шумно бурлившим водоворотом. Теперь, по-видимому, две лошади шли на повороте, голова в голову, потому что сразу рев раздробился на два, три, четыре отдельных имени, которые не переставали вырываться, как боевой клич, из одиночных иступленных групп, и крики эти казались клапанами их бредовой одержимости.

Я стоял среди этого оголтелого грохота, холодный, как скала среди бушующего моря, и не могу даже теперь сказать, что испытывал в ту минуту. Прежде всего я чувствовал комизм всех этих гримас и ужимок, ироническое презрение к плебейскому характеру этих излияний, но все же и нечто иное еще, в чем я неохотно сам себе признавался, — какую-то тихую зависть к такому возбуждению, к такой пылкой страстности, к жизненной силе, таившейся в этом фанатизме. «Что должно было бы произойти, — думал я, — чтобы

до такой степени взволновать меня, привести в такое лихорадочное состояние: чтобы по телу моему разлился жар, а изо рта невольно вырывались крики?» Я не представлял себе такой денежной суммы, получение которой могло бы меня так зажечь, такой женщины, которая бы меня так возбудила, ничего, ничего не существовало, способного довести мои онемелые чувства до такого пожара! Перед внезапно на меня направленным пистолетом сердце мое, за миг до смерти, не билось бы так дико, как вокруг меня стучали, из-за горсточки золота, сердца десятков тысяч человек.

Но вот, по-видимому, одна лошадь уже подходила к финишу, потому что в слитном, становившемся все более пронзительным крике тысяч голосов зазвенело, как натянутая струна, одно определенное имя и резко вдруг оборвалось. Музыка заиграла, толпа внезапно растеклась. Один заезд закончился, один бой разрешился, напряжение разрядилось в пенящуюся, движимую затухающими колебаниями сутолоку. Толпа, только что представлявшая собою пучок страсти, распалась на множество отдельных бегущих, смеющихся, говорящих людей: спокойные лица снова выплыли из-за уродливой маски возбуждения; в азартном хаосе, на несколько мгновений спаявшем эти тысячи в единую

раскаленную глыбу, начали опять выслаиваться человеческие группы, сходявшиеся, расходившиеся, — люди, которых я знал и которые со мною здоровались, люди чужие, которые окидывали друг друга холодно-учтивыми взглядами. Женщины критически осматривали одна другую в новых своих туалетах, мужчины жадно поглядывали на них; то светское любопытство, которое, в сущности, является занятием для безучастных людей, опять начинало обнаруживаться. Они выискивали, пересчитывали, проверяли друг друга: все ли в сборе, все ли элегантны. Едва очнувшись от хмеля, все эти люди не знали уже, антракты ли составляют цель этого светского сборища или самые скачки.

Я расхаживал в этой разгоряченной толпе, кланялся и отвечал на поклоны, с наслаждением вдыхал — ведь это была атмосфера моего существования — запах духов и элегантности, которым веяло от этого калейдоскопического муравейника, и с еще большим упоением — тихий ветерок, долетавший со стороны лугов Пратера и согретых летним солнцем лесов, ласково игравший кисеей женских туалетов. Несколько знакомых пытались заговорить со мною, Диана, красивая актриса, приветливо кивнула мне из ложи, но я ни к кому не подходил. Мне было неинтересно беседовать сегодня с кем-нибудь из этих светских